

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Криворожье

«— А поедете-ка мы с вами в Криворожье, — сказал мне однажды сосед мой, Семен Андреич Гундриков, — есть там у меня мельник знакомый, человек, я вам скажу, скотоподобнейший! Так вот к мельнику к этому...»

Александр Иванович Эртель
Криворожье

— **А** поедемте-ка мы с вами в Криворожье, — сказал мне однажды сосед мой, Семен Андреич Гундриков, — есть там у меня мельник знакомый, человек, я вам скажу, скотоподобнейший! Так вот к мельнику к этому...

Я согласился, и мы отправились с господином Гундриковым в Криворожье.

Стояла засуха. Недели три как уже не было дождя. Солнце с убийственной жгучестью палило землю; на знойном небе целыми днями не показывалось ни одного облачка. В раскаленном воздухе пахло гарью. Хлеба выгорали. Налив ржи приостановился на половине, и в тощем, бледно-желтом колосе уже подсыхало сморщенное, изможденное зерно. Яровые стали. Овсы, не поднявшись еще и на пол-аршина от земли, уже поблекли и начинали желтеть. Просяные поля уныло отливали своими бледно-зелеными преждевременно выметавшимися кистями. Мурава на выгонах и отава на покосах высохла наподобие какой-то щетины и подернулась неприятной желтизною. Паровые поля, выбитые скотиной, уж не зарастали вновь травой: только колючий та-

тарник да корявый бурьян кое-где разнообразили эти поля, высохшие, как камень, и пыльные, точно столбовая дорога.

Мы выехали не рано, и жара была страшная. неподвижный воздух, проникнутый нестерпимой жгучестью, томительно стеснял дыхание. Горячее безоблачное небо тусклым и тяжелым сводом распростиралось над землею. Вдали хмурыми синеватыми тучами стоял зной, и заманчивой полосой струилось марево. Дальние поселки и кусты, охваченные этим маревом, казались островами, плавающими в волнистом, чудно-изменчивом море. Выжженные солнцем нивы печально стлались по равнинам, широко разбежавшимся вокруг нас. Невесело было глядеть на эти нивы... Редкая, порыжевшая рожь не поникала к земле тощим своим колосом, как поникает она в пору урожая, а как-то вяло и беспомощно устремлялась кверху и, при малейшем дуновении ветерка, металась во все стороны, путалась и ломалась. Яровые изобиловали бурьяном и полынью.

Стада, кое-где попадавшиеся нам на встречу, еще более усиливали тоскливую

неприглядность полей. Коровы с осунувшимися боками и ребрами, выпиравшими из-под кожи наподобие обручей, уныло и беспорядочно бродили, тщетно разыскивая корм и печально оглашая воздух жалобнейшим ревом. Овцы с каким-то тупым и бессмысленным равнодушием сбивались в тесные кучи, изо всех своих сил напирая друг на друга и наполняя тишину тяжким сопением. Редко около стад виднелся пастух. Казалось, и пасти-то голодающий скот находили излишним.

Впрочем, раз мы заметили и пастуха. Он лежал возле межи, в значительном отдалении от своего тоскующего стада, и безучастно оглядывал окрестность. Когда экипаж наш поравнялся с ним и треск колес достиг до его слуха, он лениво повернул голову, обвел нас каким-то как бы осоловелым взглядом и снова устремил этот взгляд в скучное пространство. Он был сед и худобою уподоблялся скелету.

Серая пыль толстым слоем лежала по дороге. За экипажем нашим пыль эта вилась целой тучей и, вероятно, издали мы представля-

ли некоторое подобие вихря. Иногда пыль вздымалась к небу и настоящими вихрями, невесть откуда налетавшими на сонное поле. Тогда высокие серые столбы быстро крутились и ходили по дорогам. Это придавало печальным равнинам особый характер какой-то пустынной и мрачной величавости. Под суровым веянием такой величавости человек умяется. Сила стихий кажется ему роком. Самонадеянность покидает его.

Тяжело было. Язык сохнул; пот обливал тело; ноги и руки отказывались служить. Иногда неподвижный воздух колебался и тихий ветер волновал зной. Тогда, казалось, по лицу пробегала огненная струя и вас обнимала адская температура.

Встречались нам деревни. Обыкновенно, несмотря на время, свободное от полевых работ, они поражали пустынностью. Въезжая в них, казалось, въезжаешь на кладбище. Мертвая тишина, стоявшая на улицах, особенно способствовала этому уподоблению. Все живое как бы приникло где-то. Правда, иногда на завалине сидела какая-нибудь воплощенная дряхлость, а около изб копошились ребя-

тишки. Воплощенная дряхлость встречала и провожала нас мутным взором, в котором только и выражалось, что тупое и какое-то неопределенное равнодушие. Ребятишки почти не интересовались нами и, вопреки всякого обыкновения, не травили нас собаками. Даже собаки, и те бродили по улицам с какою-то покорною унылостью и если брехали, то брехали как бы по привычке, нехотя и рассеянно.

Кабаки были пусты. У одного — мы видели толстопузого кабатчика, отиравшего пот с красного лица своего красным ситцевым платком и со скорбью озиравшего прикишную деревню; у другого — худенькая и костлявая целовальничиха сушила на солнце рожь, то и дело подбегая к околице и с каким-то беспокойством оглядывая пустынную улицу. Она, вероятно, боялась воров. Только у дверей третьего кабака увидали мы потребителя. Опираясь руками о притолку двери и широко расставив ноги, он обратил к полю лицо, по которому, мешаясь с пылью, ползли слезы, и пьяным, нескладным голосом орал песню, перемежая ее то руганью, то упреками

кому-то. Среди гнетущей тишины, царящей окрест, песня эта казалась чем-то странно-диким и наводила на душу невыразимое уныние.

И жара, и поля, сожженные солнцем, и невеселые встречи, — все это ужасно утомляло. Я не раз раскаивался в поездке. Семен Андреич тоже сидел возле меня если не грустный, то мрачно сосредоточенный и вообще недовольный.

Но вы еще не знаете Семена Андреича. Пока мы жаримся на палящем июньском солнце, пока вздыхаем и молчим и с тоскою озираем скучные равнины, бесконечной пеленою бегущие нам навстречу, я познакомлю вас с ним. Он не молод, имеет лицо, подобное груше, и подбородок, подпираемый несколькими этажами слоистого жира. Он широк в кости, приземист и смотрит ясно. Эта ясность порою конфузит. Неприятно ощущать в человеке отсутствие недоразумений. В Гундрикове недоразумений не было. Это была замечательная голова. Он давно еще, в незапамятные времена своей юности, подвел итоги, вывел баланс, устранил всевозможные «иксы» и

теперь поживает себе, ничем не смущаем.

Он коллежский асессор и любит, чтобы на адресах величали его «вашим высокородием».

В практической своей жизни он подчиняется судьбе. Это успокаивает. Обыкновенно он не силится *уразуметь* факты, он их только констатирует. Околевают ли у него овцы, дохнут ли дорогие заводские лошади, пропадает ли пшеница, он на все на это наклеивает подлежащие ярлычки и сдает в архив. На практике ум его не ведает обобщений. Каждый факт, имеющий место в практической, обыденной жизни, представляется ему фактом уединенным и беспричинным.

Он любит нюхать табак и нюхает очень хороший. Когда нюхает, то не чихает, а как-то особенно внушительно поводит носом. Впрочем, он и вообще внушительен. Движения его медлительны и плавны. Это, однако ж, не исключает способности его горячиться. В противность плавным и медлительным движениям, говорит он и не плавно и не медлительно. Мера гороху, просыпанная на лист железа, дает некоторое уподобление его речи.

Он — управляющий гг. Дурманиных. Гг. Дурманины живут за границей. Они довольны Гундриковым. Гундриков не ворует (то есть не ворует нагло). Гундриков хотя упорно отрицает интенсивное хозяйство, зато, не гонясь за журавлями в небе, крепко держит в руках синицу. Дурманинские мужики по его милости на малом наделе. Кроме того, их окружают господские земли. Видали ли вы мышонка в когтях у кошки? Гундриков справедливо полагает, что при таких условиях интенсивное хозяйство излишне. Оно требует затрат и лучших климатических условий. Вместо этого баснословно дешевым трудом он возделывает трехполку.

Как и подобает коллежскому асессору — он горд. За вечным отсутствием гг. Дурманиных спина его закаменела. Поклоны его были величественными поклонами. Пожатие своей руки, в простоте, душевной, он считал милостью. Другой мой сосед, Чухвостиков, величал его Навуходоносором⁽¹⁾. Чудак!

Впрочем, Семен Андреич справедлив. С его стола не сходят судебные уставы 1864 года (в роскошном переплете и с надписью золотом:

Правда и милость да царствуют в судах). Все, что он делает, делает он не иначе, как на основании надлежащих статей. Он любит точность. Он не берет лишнего, но берет по закону. Если в условии с мужиком помещена неустойка в пятьдесят рублей, он довольствуется пятидесятью. «Я люблю правду», — говорит он в таких случаях. Это мирит его с тем, что он имеет привычку называть своею совестью.

Семен Андреич считает себя хорошим человеком. Он даже добр. Сынишка его в классической гимназии, а у дочурки имеется француженка с легитимистским направлением. Он вдовый и нанимает экономку.

И однако как теоретик он — фантазер. В противность его обыденным понятиям, факты в *теории* обобщаются у него с поразительным легкомыслием. Вот почему проекты, один другого нелепей и один другого затейливей, кружат его голову, чуть только он отрешится от действительности. Проекты преимущественно касаются политики. В свободные минуты любимым занятием Семена Андреича бывает раскрашивание географических

карт. Пером на белой бумаге он обводит силуэт Европы и Азии и затем произвольно проводит границы государств. Россию он окрашивает в желтое (цвет рублевой бумажки). Желтая краска простирается на картах Семена Андреича от Пекина до Константинополя. Семен Андреич патриот и не жалеет желтой краски. Но он скупится на синюю. Синяя означает немцев. Немцев он не любит. Немцам было тесно на его картах. Стиснутые между долиной Шпрее и Рейном, бедняги задыхались. Густая желтизна заполняла их придунайские, галицкие и познанские угодья. Эта желтизна доходила вплоть до Берлина. «Все это наше исконное», — говорит Гундриков и ссылается на победы императрицы Елизаветы^[2].

К французам он благоволит. Им он отдает все — от Альп и до моря, от Рейна до Пиренеев. «Пуцай их!» — благодушествует он, а когда доброту его устрашают коммуной, то грозно хмурится и тычет указательным перстом на синюю неметчину. В неметчине он олицетворяет будочника.

Турок почти вовсе отсутствует на картах Семена Андреича. Только после тщательных

наблюдений вы могли бы заметить зеленый треугольник, изображающий Турцию. Треугольник этот величиною не превосходит блоху и ютится где-то в глубине каменной Аравии, позади ярко желтеющей Палестины.

И, между тем, фантастичность политических помыслов Семена Андреича не исключала ясности. Принципиальная сторона раскрашивания не затемнялась недоразумениями. Как правда и совесть воплощались для Гундрикова в такой-то статье «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», так равно и фантазия его имела строго и, главное, однообразно установленные пределы. «Все нам: нам моря и реки, нам Прагу и Константинополь», — вот что составляло практическую подкладку Семен-Андреичевой фантазии и служило ей пределами. Повторяю, и здесь для него не существовало недоразумений. Вопрос казался ему ясным, наподобие годового конторского отчета.

Надо отдать ему справедливость, он имел чутье. Он был немножко славянофилом. Он один из первых оценил «Новое время»^{3}. Я помню его радость по этому поводу.

...Но возвращусь к рассказу.

Итак, я молчал, а Семен Андреич сидел возле меня мрачно сосредоточенный и недовольный. Уж на половине дороги, когда мимо нас бежало просяное поле, страшно скудное и страшно поросшее сорными травами, спутник мой встрепенулся и нарушил молчание:

— Да. Так я вот и говорю... (он до сих пор ничего не говорил) все так-то у нас!.. Австрия ежели претерпевает, мы ее выручаем, Францию тоже выручаем, а вот страдает свой брат, мы и ухом не ведем...

— Это вы насчет чего же? — спросил я, несколько удивленный темой разговора.

— А насчет славян все... Вы не поверите: сердце болит!.. Помилуйте-с, страдают, гибнут, дерутся, а мы... Мы молчим!.. Скорбит, Николай Василич, скорбит душа моя...

— Что же нам, по-вашему, делать?

— Нам-с? Хе-хе... Дела наши простые-с... Дела наши очень даже незамысловатые должны быть-с. Смотрите сюда, я вам сейчас это объясню. Вот Дунай, смотрите! — Семен Андреич выставил свое жирное колено и многозначительно похлопал по нем рукою. — Это будет

Дунай. Теперь ваше колено пускай означает Константинополь. Вот Австрия. Вот Азия. — Гундриков указал на козлы, где восседал кучер Григорий, и на край тарантасного кузова. — Отлично-с. Теперь представьте себе армию в восемьсот тысяч человек. Представили? Очень хорошо. Делим эту армию надвое: пятьсот тысяч отдаем Черняеву, триста — Комарову. Не забывайте, что это Дунай, подтвердил Гундриков, хлопнув по колену. — Теперь соберите вы все восемьсот тысяч в один стан...

— Где же?

— Ну, где-нибудь, ну, положим, в земле Войска Донского; это будет земля Войска Донского, — он указал на конец своего прекрасно вычищенного сапога. — Я, разумеется, за идею. Масса, так сказать, должна быть вдохновлена. Итак, я всепокорнейше обращаюсь к Иван Сергеичу и к Алексей Сергеичу. Действуйте, Иван Сергеич и Алексей Сергеич! — говорю я... И тот и другой набирают массу славянофилов и прибывают в стан. Там уж повсюду, знаете ли, хоругви, эстрады («вышки» — в скобках перевел Семен Андреич), ко-

локола, крики «ура» и «живио». Прекрасно. Начинаются речи. Идея проникает солдатские организмы. Представьте себе, армия движется одним чувством идти и умереть. Пользуясь моментом. Эйн, цвей, дрей, налево кругом, ма-арш!.. Не забывайте, что это Дунай, — еще раз напомнил мне Гундриков, указывая на колено. — Армия идет, Комаров идет, Черняев идет, Иван Сергеич и Алексей Сергеич говорят речи, музыка гремит «Славься сим Екатерина» (неприменно «Славься сим», — действительно повторил он), — хоругви развеваются по ветру, солдаты ликуют... Дунай! Черняев перешагнул, Комаров в резерве. Турки бегут. Австрия разбита (о, эта Австрия большая каналья). Славяне освобождены. Акт присоединения торжественно совершается в святой Софии. Иван Сергеич — наместник Болгарии, Алексей Сергеич — сатрап Македонский... Помилуйте-с, превозвышенные дела!

Пекло так сильно, что мне и возражать не хотелось. Я промолчал. А между тем Гундриков горячился. Он засел на любимого конька и теперь летел на нем, не смущаемый жарою.

— Помилуйте-с, что же это такое! — восклицал он. — Двадцать лет, целых двадцать лет мы сидим дома... Ведь у нас совсем и слава извелась... Да, положительно перевелась слава. Что мы, в самом деле, или уж взаправду мужицкое царство? Нет, не мужицкое мы царство, а царство военное-с, и на этой точке стоять должны твердо...

— Что же по-вашему — воевать?

— Воевать! — воскликнул Семен Андреевич. — Всенепременно воевать!.. С нашим народом да не воевать? Помилуйте-с... С нашим народом и дел других подходящих нету, кроме как воевать... Представьте себе, что такое наш народ? Да железо, кремень, устой гранитный!.. Вспомните, что Наполеон о солдате-то нашем сказал? а!.. А вы толкуете...

И, помолчав, продолжал даже с некоторой сладостью:

— Нет, Николай Василич, наш народ знать надо-с!.. Ох, до тонкости нужно знать наш народ!.. Суворовы, Филареты⁽⁴⁾, Погодины⁽⁵⁾, — это, батенька, не шутка. Наполеон говаривал, что-де поскребите русского, татарин будет. Нет, брат, поскреби-ка его, попытайся — ан и

увидишь, герой в нем сидит... В каждом русском, в каждом мужике сиволапом герой сидит!..

В это-то время мы поравнялись с тем кабаком, у дверей которого пьяный мужик орал песню.

— Вот вы глядите на него, — указал мне Гундриков, — пьян до того, каналья, на ногах чуть держится, а дайте-ка вы ему штык в руки да закричите «ура»? — он вам не токмо турка, черта протурит в Азию... Ведь чем он дорог, русский человек? Простотой своей, батенька, дорог. Теперь возьмите вы солдатскую точку зрения. Представьте вы солдата-немца. Хорош солдат-немец, да привередлив больно. И елку ему, шельме, устрой, и сапоги с подметками предоставь, и колбасой его, ракалиона, начини... Совсем неподходящий человек!.. Ну, и представьте себе — француз. Француз тоже прихотливый человек. А ведь нашему-то чем меньше жратвы давать, тем он ядовитей становится!.. Соли у него нет — порохом солит, мяса нет — конину кушает. Сухарь ежели с песком у него — он храбр, а ежели окончательно гнилой — он

еще храбрее. Вот ведь чем дорог-то он, русский человек, — логикой-то своей он дорог! Совсем необыкновенная у него логика. Так с таким человеком да не воевать — помилуйте-с!.. Я и говорю: воюй, покуда не изнежился он, покуда сапог да колбасы не запросил... и это пуще всего!..

И на этот раз не возразил я Семену Андреичу.

— Или опять, говорят иные, немец умен, — продолжал он, как бы внутренне раздражаемый моим молчанием, — о господи ты боже мой! а русский-то — или вы забыли? Представьте себе сметку русскую, представьте вы изворотливость нашу, наше знаменитое «себе на уме»!.. Да недалеко нам за примером ходить, возьмем мы в пример вот мельника этого, к которому едем, человек он скотоподобнейший, а такую штуку удрал — Ньютон позавидует...

— Какую же штуку?

— А простую штуку. Вот ныне у нас как есть настоящий голод, а в прошлом году родилось просо. Представьте вы себе: ничего не родилось-одно просо родилось. Ну, и начал он

по осени просо это скупать. Больше ничего, как скупать! Дела все бросил, а одно — скупает просо и шабаш. Ну, и дешево скупил. А нынче с весны пшено стал работать. Штука простая. Ну, и представьте себе, что он с этого проса нажил?

Гундриков смерил меня торжествующим взглядом.

— А двадцать пять тысяч, батенька, нажил, да еще, пожалуй, десять наживет. Вот оно как... У других мельницы стоят — работы нету, а он прошлогоднее просо рушит себе полегоньку да сплавляет в Москву. Больше и делов у него никаких нет — рушает и сплавляет. Штука простая... Пятьсот рублей от вагона берет!.. Так-то, батенька вы мой. Вот какие у нас народы!..

Он помолчал в некотором раздумье, но затем снова как бы спохватился:

— Да его ли одного взять... А Чумакова, Праксел Алкидыча, вспомните, министр ведь, положительный министр. Да все они министры, — в каком-то восхищении воскликнул Гундриков, — и не кулаками обзывать их, а именно министрами... Какой он кулак, поми-

луйте-с! Он умственный человек. Он, ежели дать ему простор, Бисмарка⁽⁶⁾ за пояс заткнет... Он, ежели ему удержу нету, не токмо Турцию, всю Европу в катух⁽⁷⁾ оборотит. Он и немца вашего выжмет, это будьте спокойны!..

Тут Семен Андреич снова как бы спохватился и голосом, даже звенящим от радости, произнес:

— Да вот опять недалеко ходить — Малафейка кабатчик. Я вот вам расскажу про этого Малафейку! Повадилась к нам берлинская немчурка ездить свиней скупать. Ну и, представьте себе, влез к этой немчуре Малафейка в доверие. Переводчик у них есть, а местов они наших не знают: где свиньи, где что... Малафейка их и водит по местам. С них за комиссию рубль, с продавца за комиссию два. Ну и повел он дело это так оборотисто, что берлинцы-то ездить к нам перестали, а Малафейка землю купил да по второй гильдии записался. Вот оно как бывает, батенька, а вы говорите — немец! Далекоем немцу до нашего брата серячка...

Для деликатности я почел, наконец, долгом помычать. При некотором желании мы-

чание это могло быть принято и в смысле одобрительном. В этом последнем, по всей вероятности, принял его и господин Гундриков. Он сладко и свободно вздохнул, расправил колено, изображавшее Дунай, и в виде заключительной сентенции произнес:

— Ну, я и говорю, дайте вы этому самому Малафейке простор, разрешите вы ему распоясаться, представьте себе: распоясался Малафейка — так он вам не токмо Махмутку-султана, Меттерниха⁽⁸⁾, если бы жив был, с костями слопает.

Наконец мы приехали.

Собственно Криворожьем называлось село; мельница же, куда мы и держали путь наш, была за селом у большого широкого пруда. Благодаря ли влажности, непрерывно проникавшей воздух около воды, но, подъезжая к мельнице, мы, как бы по уговору, испустили радостный вздох. Посреди спаленных нив и тоскливых деревень с полузасохшими раки-тами мельница казалась каким-то раем. Густые купы ветел окружали ее со всех сторон и длинным рядом тянулись по плотине. Красные крыши мельничных построек весело вы-

делялись среди сочной и темной зелени этих ветел. Вода подступала к самым постройкам и, горячим блеском сверкая на солнце, под тенью густой листвы отливала изумрудом. Здесь и там, около берегов и посередине пруда, с сонной неподвижностью зеленел камыш.

На мельнице было тихо. Только вода из скрыни, с каким-то меланхолическим журчанием падая на колесо, нарушала эту тишину, да изредка в одном из амбаров глухо стучали толкачи, через долгие перерывы тяжело низвергаясь в ступы.

Не было видно ни души. Правда, при нашем въезде на двор мельницы и при дребезге нашего экипажа высунулась какая-то голова из дверей одного амбара и загремела цепью лохматая собака, но голова снова спряталась, а собака, погромев цепью, отчаянно зевнула и опять скрылась в свое логово.

Тень старых, развесистых ветел скрывала весь двор мельницы. Было свежо и даже несколько сыро. Мы с наслаждением вдыхали этот прохладный воздух, который нам, пекшимся на солнце в продолжение добрых двух

часов, казался истой благодатью.

— Ла-за-арь! — наконец воскликнул Гундриков, не вылезая из тарантаса.

Никто не ответил на громкий возглас. Семена Андреича даже зло разобрало.

— Лазарь! Черт! Парамоныч! — закричал он. На этот раз из амбара вылез человек, весь обсыпанный мучною пылью. Он лениво почесал лопатками спину, оправил ремешок на спутанной голове и не спеша пододвинулся к нам.

— Вам кого? — вяло осведомился он. Независимый вид его и совершенное отсутствие какой бы то ни было почтительности почему-то рассердили Семена Андреича.

— Представьте себе, спрашивает, а? — обратился он ко мне, гневно разводя руками, и затем закричал: — Черта нам, дьявола нам нужно, понимаешь, а? свинья, — кому говоришь, кого спрашиваешь? Лазарь где? Где Лазарь?

Пыльный человек слегка подтянулся, но особой предупредительности не обнаружил.

— Это, то ись, вам Парамоныча надоть? — спросил он.

— Да, то ись, Парамоныча нам, — саркастически ответил Семен Андреич, еле сдерживая негодование.

— А Парамоныч в роднике сидит, — равнодушно отвечивал пыльный человек.

— Купается?

— Чай пьет.

— Вот свинья! — сорвалось у Гундрикова.

— Зачем же его в родник-то занесло? — спросил я.

— Жара, от жары спасается.

— Ну, а супружница где?

— Устинья Спиридоновна?

— Да.

— И Устинья Спиридоновна в роднике.

— И она чай пьет?

— И она кушает.

— Ах, дуй вас горой! — плюнул Гундриков и полез из тарантаса.

— Стало быть, и она в воде? — спросил я.

— Как способней. Больше на бережку.

Успокоенные этим «больше на бережку», мы расспросили, где родник, и, отдавши Григорию необходимые инструкции, отправились туда. По уходе нашем со двора мельни-

цы там слышались голоса. Я остановился и прислушался. Один из голосов принадлежал бабе и, видимо, был встревожен.

— Мартишка! — взывал он торопливой скороговоркой, — ай управитель приехал?

— А шут их тут! — флегматично отвечивал пыльный человек, оказавшийся Мартишкой.

— У, оморок!.. Из себя-то пузат?

— Пузо — ничего.

— Сердит?

— Серчал. Ругается здорово.

— Ну, он и есть. Ахти мне окаянной — утятина-то у меня перепрела!.. Куда поперся-то?

— К роднику.

— Один?

— Двое.

— А-а-а... Кто же другой-то буде?

— А шут их тут...

— Какой он из себя-то — рыжеватый? — горячо подхватил бабий голос.

— Рыжеватый-то он рыжеватый.

— Длинноватый?

— Тоже как будто есть...

— Ну, знаю, знаю. Это дьякон с Луцеват-

ки! — затараторила опрометчивая баба.

— Еще чего? — угрюмо оборвал Мартишка бабу и затем, посулив ей некоторую неприятность, медленно поплелся в амбар. Его, видимо, разозлило легкомыслие бабы. Впрочем, не доходя до амбара, он остановился и в свою очередь покликнул ее:

— Степах!

— Чего тебе?

— Так перепрела, говоришь?

— Утятина?

— Утятина.

— Ох, перепрела!

— Тэ-эк...

Они немного помолчали.

— Степах! — произнес Мартишка, вдруг выпуская голос свой до тонов слабых и мягких.

— Ну?

— Ты ее тово... Волоки-ка ее в амбар.

— Утятину? — удивилась Степаха.

— Утятину...

— Ах, нечистый тебя расшиби!

Послышался тихий, раскатистый смех. Степаха, захлебываясь этим смехом, еще раз в из-

неможении повторила: «Ах, нечистый ты... Ишь что обдумал!..» и затем все смолкло.

Родник, где утешался чаем Лазарь Парамоныч, отстоял от мельницы минут на пять ходьбы. Кругом скрытый густыми деревьями, он долго был не виден нам. Мы шли, шли по бережку ручья, вытекавшего из-под мельничных колес и, наконец, стали в тупик.

— Откликнись, Лазарь, где ты? — несколько раз зывал Гундриков, и, кажется уже на пятый возглас, Лазарь откликнулся. Руководимые откликом этим, мы тотчас же пришли к роднику. Оригинальная картина предстала пред нами. Родник был превеселое место. Вообразите вы полукруглую котловину, примыкающую к ручью. Берега этой котловины круты и обрывисты, и только внизу, у самой воды, окаймлены пологой почвой, усеянной свежеею травкой и цветами. Песчаное дно котловины, выше колена покрытое дивно прозрачной водой, белизною подобно снегу и мягкостью напоминает бархат. Громадные белые камни, похожие на стволы, лежат в воде. Из-под них стремительно бьют ключи. Кругом котловины зеленеют молодые кудрявые

дубки, а противоположный берег обступают густые ивы.

На одном из камней, рассеянных по котловине, ярко сверкал самовар. Мужская фигура, скрытая водою по грудь, спокойно сидела на песчаном дне и с аппетитом попивала чай. Это и был сам «скотоподобнейший» мельник Лазарь Парамоныч. Все изгибы его тела, пышного и рыхлого, как тесто, ясно обозначались в прозрачной воде. Толстые лохматые ноги, жирные складки около бедер, круглые выпуклости груди, плечи, подобные подушкам, гладкая, салом заплывшая спина — все это лезло в глаза с какой-то первобытной бесцеремонностью. Лицо было достойным продолжением остального. Оно имело какой-то бабий облик и даже поражало своим благолепием. В нем было что-то херувимское. Пышные щеки, теперь подернутые синевою, но вне воды несомненно румяные, маленький голубиный носик, волнистая светло-русская бородка, красиво посеребренная сединою, такие же красивые серебристо-русые кудри на голове и, наконец, кроткие, сладко-задумчивые глазки, — все привлекало в нем. Прибавьте к это-

му мирную и как бы младенческую улыбку, почти не сходящую с полных, женоподобных уст Лазаря Парамоныча. Присовокупите к нему голос его, нежный и плавный, его вкрадчивый и как бы рассыпчатый мелкий смех, и вы, конечно, с негодованием отринете то уподобление скоту, которое любил пускать в ход господин Гундриков, толкуя о свойствах кри-ворожинского мельника.

Супруга Лазаря, расположившись на травке, вязала чулок. В противоположность мужу, она была худа и костлява. Черты ее длинного матового лица выражали энергию. Глаза, осененные густыми бровями, смотрели умно и строго, но в складках толстых губ замечалось добродушие.

Увидав нас, она не спеша отложила свой чулок и пошла к нам навстречу. «Дитяtko-то мое тешится!» — с снисходительностью сказала она, здороваясь за руку с Гундриковым и низко кланяясь мне.

— Ах, старые вы черти! — восклицал Семен Андреич. — Что ты, Спиридоновна, по-вадку-то даешь ему?

— Уж обычай у него таков, батюшка Семен

Андреич, — отшучивалась мельничиха.

Лазарь радостно, но без наглости гоготал и, наливая новую чашку, убеждал и нас последовать его примеру.

— Обычай-то обычай, да обычай-то бессовестный, — не одобрял Гундриков.

— Ох, жара-то истомила, сударь, — отозвался Лазарь в тоне почтительной фамильярности, — а уж в ключе-то то ли не благодать... Полезайте-ка за компанию... У меня, как жарынь, первое дело — в воде чай пить. Страсть помогает!

— Ну, пей, пей! — благодушно согласился Гундриков, — дотягивай самовар-то, мы тут на бережку посидим! — и, обращаясь ко мне, добавил: Ведь ишь обдумал, каналья, а толкуют, русский комфорту не понимает...

Устинья Спиридоновна поспешно уходила.

— Куда ж ты, мать?! — закричал ей Лазарь.

— Ну, уж не твоя-то печаль, — возразила она, — ты вот дохлебывай чай да веди господ-то.

— Ну, ну. Эх, министр ты у меня, баба! — одобрительно посмеиваясь, произнес Лазарь. — Ведь мы вас, сударь, часа два поджи-

даем, — заметил он Семену Андреичу.

Теперь только я понял, почему у Степахи утка перепарилась. Мы были гости не случайные, а жданные.

Наконец Лазарь поспешно проглотил остатки чаю и вышел из воды. Семен Андреич познакомил меня. Разговор тотчас же перешел на жару, на засуху. Лазарь оделся; одеваясь, поговорил, пожалел «черный народ», который, по его словам, «отощал, почитай что в отделку»; затем тщательно провел маленьким роговым гребешочком по волосам головы, осторожно расправил бородку и, дав нам докурить, пригласил на мельницу.

Но хрустальная вода родника соблазнила нас. Мы решили искупаться. Лазарь одобрил наше решение и, упрекнув в давешнем упрямстве, предложил приготовить на камне самоварчик. От самовара мы отказались. Лазарь был так предупредителен, что хотел снова раздеться и лезть с нами в воду, но Семен Андреич великодушно отклонил эту предупредительность. Мы стали купаться вдвоем. Несмотря на то, что вся почти котловина была открыта солнцу, вода в роднике была

очень холодна и казалась ледяною. Она даже щипала тело. Подивился я «обычаю» Лазаря пить в такой воде чай. Но освежало купанье действительно отлично. Оно как-то стягивало мускулы, делало их терпкими. Голова свежела. Дышалось легко. Энергия возбуждалась настойчиво.

На мельнице ждал нас обед. Стол, накрытый грубой скатертью, стоял в маленькой, но прохладной комнатке, открытые окна которой выходили на двор, темный от тени ветел. Иногда по листве этих ветел пробегал ветерок, и тогда легкий шум проникал в комнату. Тонкая струйка воды, сочась по колесам мельницы, издавала серебристый меланхолический звук.

Мы сели за стол и в торжественном молчании ожидали появления яств. Желудки наши, возбужденные купаньем, казалось, чутко готовились к восприятию этих яств. Лазарь с нетерпением потрясал коленом. Наконец дверь распахнулась, певуче заскрипев на своих давно не смазанных петлях, и в ней показалась мельничиха. Добродушное выражение ее губ, казалось, усугубилось, строгие глаза

светились ласковой величавостью. За ней появилась кухарка (после я узнал, что это и была Степаха). Благоговеино держала она в своих толстых, до локтя заголенных руках огромное дымящееся блюдо. Жирные щеки ее дрожали от какого-то внутреннего напряжения и пылали подобно раскаленной меди. Из маленьких, заплывших щелочек выглядывали готовые засмеяться глаза. Масленные губы корчили степенную улыбку. Белоснежная завеска так плотно облежала пышную грудь ее и круглые, мягкие плечи, что казалась натянутой через силу.

— Просим покорно дорогих гостечков хлеба-соли откусать! — церемонно возгласила Устинья Спиридоновна и отдала нам по глубокому поклону.

Мы с подобающей чинностью засели за стол. Обед начался и длился целых два часа.

Уже не помню, с какого блюда начался этот обед. Не могу сказать с точностью и о том порядке, в котором появлялись блюда последующие, им же не было числа. Помню одно, — что все подаваемое было чрезвычайно вкусно, хотя и чрезвычайно же обременяло

желудок. Но аппетит наш, поощряемый радушием хозяйки, не унывал. Теперь, припоминая разнообразнейшие блюда, имевшие место в обеде нашем, я только одному удивляюсь, — ужели всем блюдам этим делали мы честь? А это было так. За курятиной холодной следовали гусиные полотки, за ними горячая буженина, потом поросенок под сметаной, и все побывало в желудках наших. Не унывали мы и перед лапшой из курицы, и перед лапшой молочной, и перед супом из потрохов, и перед щами из свежины. Жареный гусь, жареный поросенок, жареная индейка не имели претензий обижаться на нас. Была честь и блинцам, жирным, горячим блинцам с холодной сметаною. Ели и круглый пирог с земляничным вареньем. Кушали и нежные розанки.

Изо всей этой массы съедобного как сейчас помню жареного поросенка. Это было какое-то чудо кулинарного искусства. Жирное и белое, как кипень, мясо этого чуда имело какое-то подобие сливок. Дивно зарумяненная корочка так искусно была зажарена, что хрустела на зубах наподобие бисквита. Нежность

и сочность, хрупкость, соединенная с мягкостью, и красота как бы наливных и слегка подрумяненных боков — все очаровывало в поросенке. Но этим еще не кончалось. В жирном и горячем нутре его хранилась каша, и что это была за каша! Предварительно поджаренная на сковородке и смешанная с мелко изрубленной гусиной печенкой, она вся насквозь была проникнута вкуснейшей и ароматнейшей влагою. Во рту она таяла...

Буженина тоже отличалась невероятными свойствами. Когда открыли то подобие кастрюли, в котором покоилась буженина эта, то из нее хлынуло нечто до того подмывающе-аппетитное, что вожделения желудков наших напряглись до последней степени.

С уткой вышло недоразумение. Дело в том, что вместо ожидаемой утки появился гусь. Утка пропала. По этому поводу у мельничихи с Степахой были в соседней комнате какие-то объяснения. Мало того, даже вызывался туда сам Лазарь. Но утки все-таки мы не видали. Лик Степахи являл смущение. Вероятно, она окончательно перепарила утку. Оказалось не то; но об этом после. После жаркого дела бы-

ли в таком положении: дыхание спиралось, в желудке чувствовалась невероятная тяжесть, взгляд становился неподвижным и рассеянным, в голове воцарялся туман.

Но впереди предстояло еще испытание. Перед нами появились кипы тонких ноздреватых блинцов. При виде этих кип у меня сначала настойчиво поднялось было негодование. Но, убежденный хозяйкой, посмаковал я один блин и... оказались не блинцы, а блаженство. Представьте себе тончайшее кружево из нежного подрумяненного теста, насквозь пропитанное душистым сливочным маслом... И вот это-то жирное, жгучее кружево опускалось в холодную, как лед, и густую, как варенец, сметану. Впечатление получалось поразительное. Кипа таких кружев, добравшись до рта и передав подлежащим нервам невероятную смачность свою, казалось, сама собою лезла дальше; а в это время рука, как бы повинуюсь инстинктам прожорливого желудка, тянулась за новой кипой.

Ели мы трое. Устинья Спиридоновна не сиделась и в том и время проводила, что угощала нас. Но зато угощала мастерски. В лице ее

на меня повеяло чем-то как бы древнерусским. Весь ее добродушный, располагающий облик, ее умное и кстати сказанное слово, ее настойчивая, но, несмотря на настойчивость, не надоедливая ласка, — все это как нельзя более и как нельзя лучше способствовало и аппетиту нашему и великолепному расположению нашего духа. Зоркий глаз ее неусыпно следил за нашими тарелками. Стоило лишь на мгновение задуматься вам над горою жирного гуся с капустой или над доброю третью круглого пирога, как уж она вмиг появлялась около вас и, с добродушной улыбкой на ясном лице, с меткой и как нельзя более идущей к делу пословицей, уговаривала-таки вас не смущаться ни перед гусем, ни перед пирогом. И вы действительно не смущались. Не смущались, ибо видели, что речи Устиньи Спиридоновны не заказные речи, а именно душевные, искренние. Казалось, вся ее душа переселялась в одно желание: обкормить нас до невозможности.

Я уже сказал, что она напомнила мне собою что-то древнерусское. В ней действительно было пропасть того, что славянофилы на-

зывают исконными свойствами народа русского. Начиная от лица ее, простого, но и в самой простоте своей величавого, начиная от ее незамысловатого костюма из синей китайки и грубых, с медными шпильками котов, все обличало в ней эту исконность. С тягучей и важной интонацией речь ее, пересыпанная образными уподоблениями и бесчисленными пословицами, так и переносила вас в какую-то новгородскую глушь, где в чистоте и неприкосновенности и по сих пор, может быть, цветут еще святорусские идеалы.

Если Устинья Спиридоновна наблюдала за пищей, Лазарь Парамоныч не оставлял без внимания вино. После каждой перемены рюмки наши аккуратно наполнялись, и в них то рубином сверкала вишневка, то желтела янтарная рябиновка. Наливка, как и все, была превосходна. По густоте она походила на ликер, но без приторной сладости последнего. Прозрачна была, как слеза, и крепостью уподоблялась хорошему токайскому. Но, вероятно по причине ужасного количества истребленной нами пищи, наливка эта плохо действовала на наши головы. Совсем не то было с

Устиньей Спиридоновной. Заметно, она любила выпить. А так как пила она вровень с нами, с тою только разницей, что мы ели, а она нет, то к концу обеда ее и разобрало. Но это, впрочем, выказывалось лишь несколько преувеличенным радушием да какой-то особенной певучестью тона.

— Ох, уж и кушайте вы, дорогие гостечки, приневольтесь собою... причитала она, подсаживаясь то ко мне, то к Семену Андреичу и устремляя на нас преувеличенно ласковые взоры. — Не пожалуйте про нас домашним: «Зазвал-де Лазарь гостей глодать костей...»

— Довольны, Спиридоновна, довольны! — отвечали мы.

— Гость доволен, — хозяин рад... А вы все-таки приневольтесь, милые... Вот ребрышко-то! Кашка-то!.. Крылышко-то!

— Сыты, Спиридоновна, сыты!..

— Против сытости не спорим, а бесчестья на хозяина не кладите... Ох, не кладите, гостечки, бесчестья!.. Лучше ж вы нашу речь послушайте: приневольтесь, скушайте!.. Коли пировать, так не мудровать... То-то вот горе-то наше: больше мы рады, чем запасли-

вы... Не обессудьте, гости дорогие: повинная вам, старая кочерга, душой-то бы рада, да приспеть-то уменья нет... К пище-то вы приобыкли к господской, к напиткам-то дворянским, а у нас, у мужиков, одна еда: жарено да парено...

Вообще, подвыпивши, мельничиха обнаружила некоторое поползновение к комплиментам, на которые и мы, конечно, не скупимся; да и нельзя по совести нельзя было скупиться.

Обед почти не прерывался посторонним разговором. Все, что мы говорили, имело непосредственное отношение лишь к съедобному. Только опять-таки к концу обеда этот невольный церемониал почему-то смягчился, и сама строгая блюстительница его, Устинья Спиридоновна, навела речь на предметы посторонние. Дело пошло с того, что Лазарь, с немалою скорбью, посетовал на засуху, но и посетовал лишь потому, что она, засуха эта, лишала его крупных барышей, ибо по ее милости вода спала и мельница почти перестала работать. Мельничиха и договорить ему не дала.

— Ох, не скупись, ох, не поддавайся жадобе, Лазарь, — горячо и настойчиво заговорила она, — али не упомнишь, откуда произошли? Из смердов ведь произошли-то мы... В старину ведь так бывало — лаптишек не хватало... Три кола-то вбито да небом покрыто — вот и жильё... Платья, что на себе, бывало, а хлеба, что в себе... Прямо сказать: жили в тоске, а спали на голой доске, пили квас и квас хлебали, с крохи на кроху переколачивались... Ерзнул бы, бывало, по лавке, хошь в старой однорядке, да и той не было!.. Ноне, слава великому господу, живем припеваючи... одна, рука в меду, другая — в патоке... Сообразись, Лазарь, али в чем недостача у нас! Дом — чаша полная! Али почету нету — вся округа шапки ломает... Чего еще? Теперь одно, Парамоныч, держи свой порядок крепко, на корысть не падай... Старые люди говаривали: мамон гнетет, так и сон неймет... И опять я тебе скажу: лучше жить в жалости, чем в зависти!

— Да я разве что... — оправдывался мельник. — Я только одно говорю: то не извоз, коли в путину на кнут не заработаешь...

— Не морочь! — даже с сердцем вскрикнула Устинья Спиридоновна, но затем, помолчав немного, снова в трогательном тоне продолжала: — Эх, Лазарь, не о хлебе едином...

— Будет сыт человек, — добавил Гундриков, поспешно проглатывая кусок пирога. Он все время не сводил сладостного взора с мельничихи.

— Вот видишь ты, не о хлебе едином сыт... Не об воде заботься, милый, — заботься о бедных; при сытости помни голод, при богатстве убожество... Так ли я говорю, гостечки дорогие? — обратилась она к нам и даже прослезилась немного.

— Так, так! — закричали мы, а Лазарь, как бы приведенный в смущение, поник головою и едва слышно лепетал:

— Да разве я... О господи!

— Мы теперь пируем вот! — все более и более приходя в пафос, продолжала речь свою Устинья Спиридоновна, — а гляди, в Криворожье с голоду корчатся... Давно ведь там: чего ни спроси, всего ни крохи... Ведь по правде-то, в селах стало только и ходу, что из ворот да в воду — ни задавиться, ни зарезаться

нечем... Известно — голь мудрена и без ужи-
на спит... А все бы и об ней надо подумать, об
голи-то. Голь вздыхает — сытому отрыгает-
ся...

— Да разве я что... О господи... да я хоть
сейчас! — восклицал Лазарь, все возвышая го-
лос, и вдруг вскрикнув как бы поющим от ка-
кой-то внутренней боли голосом: — К черту
барыши, без барышей век промаемся! — пре-
жестoko ударил по столу кулаком.

Произошло замешательство. Но Устинья
Спиридоновна сделала строгий выговор Лаза-
рю, и Лазарь утих. Он, видимо, смирялся пе-
ред женою. Она как будто подавляла его. И ко-
гда все успокоилось, она снова начала:

— Достатков у нас хватит: маленькая до-
бычка, да большой бережь — век проживем; а
ты вот, Лазарь, чем об воде-то печалиться, по-
слал бы малую толику отцу Кипру, он бы,
отец-то Кипр, и роздал по беднейшим. Не хва-
лись серебром, хвались добром, говорит по-
словица. От честной наживы бог жертву лю-
бит, милый ты мой... золото-серебро сумой у
нас не пахнет — все накоплено вольным тор-
гом да честным трудом... Не обмерено, не об-

вешено, с росту не награблено! — Все последнее Устинья Спиридоновна произнесла, видимо, для нас, и произнесла с гордостью.

Обед кончился прямо умилительной сценой: подвыпивший Лазарь, воскликнув: «Правда твоя, баба моя сердечная, Устинья Спиридоновна!» распахнул поддевку и, выхватив из бокового кармана туго набитый бумажник, вынул оттуда две сторублевых.

— Пусть идут к отцу Кипру! — сказал он, причем и глаза и лицо его изъявили какое-то беззаветное молодечество. — Зови Мартишку, пусть везет к отцу Кипру... Мы за этим не стоим!

Явился Мартишка.

Лазарь подошел к самому лицу Мартишки и, шелестя перед его носом деньгами, сказал:

— Вот видишь две сотельных? Гляди сюда: вот одна, вот другая... Теперича садись ты на буланого и катай к отцу Кипру. Духом скатай! Подашь ты отцу Кипру деньги и скажешь: Лазарь, мол, Парамоныч поклон тебе шлет, слышишь? Это первое дело. Второе дело, жертвует, мол, Лазарь Парамоныч от своего богатства на убогих две сотельных и чтоб не ина-

че, как через отца Кипра. Понял?.. Да ты гляди на меня, аль рожу-то тебе свело!.. Хе-хе-хе... У меня, голубь ты мой, дельце до тебя малое есть — посчитаться бы нам надо с тобой, ну, да уж катай в Криворожье, ужо сочтемся...

Лазарь Парамоныч, с какой-то милой ехидностью, ткнул несколько смущенного Мартишку в живот и, передав ему деньги, проводил его.

Мы с Семеном Андреичем были поражены. Не знаю, заплакал ли я, но по лицу Гундрикова текли слезы. Он в каком-то немом восхищении хлопал глазами и прерывающимся шепотом произносил:

— О, вот они, исконные начала... О, вот они, доблести святорусские... Вот где родник неумирающей самобытности... О, Русь святая! Какое сердце не дрожит...^{9} — и при этом шелковым фуляром, изображающим карту Европы, отирал раскаленные щеки.

По уходе Мартишки он не вытерпел. Проглотив наскоро пук блинцов и опрокинув в рот свой чуть ли не десятую рюмку холодной вишневки, он тяжело приподнялся и, с усилием опираясь на стол, изъявил желание произ-

несть «здравлицу». Мы, по примеру оратора, тоже выпили, а выпив, в почтительном молчании стали слушать.

— Честная хранительница правды русской! — несколько путающимся языком возгласил Гундриков, обращаясь к лицу Устиньи Спиридоновны, — твоими устами вся исконная, вся самобытная Русь возглагодала!.. В твоём сердце широкое сердце земли русской сказалося!.. (Устинья горько плакала, утираясь передником.) Сгинет с лица земли накрахмаленный немец; до срока исчезнет субтильный француз; прахом пропадет поганая туретчина; но ты, святая Русь, превечна пребудешь!.. Живо слово русское, ибо мы внимали ему здесь вот, во всей его силе и во всей красе его... Живо горячее русское сердце, ибо здесь же воочию совершилось перед нами то, что мы именуем деянием, присушим палящей любви большого брата русского к меньшому брату русскому... К тому меньшому брату, кого цвет и краса женщин русских (Семен Андрееч торжественным жестом указал на рыдающую мельничиху) так красноречиво уподобила смердам...

В это время оратору точно кто дал шпоры. Внезапно воспрянув и внезапно же возвысив голос до степени крика, он, всецело обратясь к мельничихе, в благоговейном тоне акафиста возговорил:

— О ты, подъявшая дух наш на высоту исторической задачи нашей!.. О ты, указавшая смысл и значение устоев наших!.. О ты, воплощенная правда земли русской!.. О, нашу самость и нашу здравость в духе единения совокупившая... О, проникновенно проникшая в недра духа русского... Ты... ты... ты...

Но тут Гундриков действительно оставил палец правой руки своей на согбенную фигуру Устиньи Спиридоновны и вдруг разразился рыданиями.

Эффект произошел неопиcуемый. Мы с Лазарем, не щадя животов наших, кричали «ура!» и, наполняя опустевшие рюмки душистой наливкой, воздвигали их... Воздвигая же, чокались и целовались и снова будили тишину, парившую окрест, заздравными кликами. Устинья Спиридоновна, неоднократно восклицая: «О, чтоб тебя, Андреич, — уморил!», смеялась и плакала и обнималась с сияющим

Гундриковым. Степаха, просунув в дверь голову свою, сияла не менее Гундрикова и по временам испускала смех, подобный ржанию.

Утомленный гамом и криком, я вышел на воздух. На дворе стояла тишина. В развесистых ветлах играл ветер, и они с важною задумчивостью лепетали листьями своими. Водяная струйка с неустанным постоянством журчала по колесам и тихо звенела, ниспадая.

По возвращении моем в комнату я заметил, что взаимная приязнь собеседников еще более разгорелась. Мельник и мельничиха сидели около Гундрикова. Мельничиха обнимала его, а мельник угощал наливкой. Гундриков усиливался сохранить свое достоинство и потому как-то уморительно морщил лоб свой и старался вызвать на лицо многозначительное выражение, но, вопреки усилиям этим, сладкая улыбка то и дело растягивала его губы, придавая лицу несколько дурковатый вид.

— Знаем мы господ-то! — подобострастно говорил Лазарь, смакуя наливку и приглашая

к тому же Семена Андрейча, — знаем мы их достаточно... Вот Гуделкин, Ириной Маркыч — он-те не то что подохотствовать — он русского языка не понимает. Ей-богу!.. Мужик ему говорит, а он не понимает... И он ежели мужику заговорит — мужик его не понимает. Так разве это возможно? С мужиком живи, так живи не как немец... Я вам, сударь, без лести буду говорить: настоящий вы человек!.. С мужиком ли, с купцом ли-вы все свои... Об вас ведь иных и речей нет, кроме как великатных...

Гундриков уподоблялся коту, которого щекочут за ушами.

— Ну, нельзя того сказать... Это ты, Лазарь, может быть, и преувеличиваешь, — для приличия возразил он.

— Ветром море колышет, молвою народ, — подхватила Устинья Спиридоновна, — молва не по лесу ходит — по людям... Нам что? Мы люди тебе приятные — спроси у чужих, у сторонних...

— Ну и что же? — с самодовольной улыбкой поинтересовался Гундриков.

— А и то же — все одно скажут: свой чело-

век, Семен Андреич, свой, расейский.

— А я вот ономясь мужичка встретил, — произнес Лазарь. — Ты чей? говорю. «Дурманинский». — Кто у вас наибольшим? спрашиваю. «Семен Андреич». Хорош человек? (Я-то как будто не знаю.) «Такой, говорит, человек — душа; ежечасно бога, говорит, молим за ихнюю милость... Им живем, им дышим, говорит...»

— Я что же — я рад... Я все, что могу... Я русский народ люблю, охорашиваясь, сказал Гундриков и отпил немного наливки.

— Да уж, мало у нас таких управителей, как ты, сударь! — сказал Лазарь, в пылу чувств заменяя подобострастное вы не менее подобострастным ты: — хозяйскому добру печальник первый... Мне тоже вот Чумаков говорит ономясь: «Голова, говорит, господин Гундриков; за этакой, говорит, головой не токмо Дурманиным, Шереметеву⁽¹⁰⁾ прожить можно».. Вон оно что!..

— Что ж — я по мере сил... Я совесть свою берегу... Я рад... окончательно развежился Гундриков.

— А уж и паны-то твои чудны, Андреич, —

с соболезнаванием подхватила мельничиха, — ты бьешься, ты ночей не спишь, ты об добре об ихнем печалишься, — а они живут себе припевают, да об радетелях своих забывают... Ни от них ласки, ни от них угождения...

— Ну, как же так — я доволен... я рад... — возразил несколько опешенный Семен Андреич.

— Хе-хе-хе, — в мягком тоне пустил Лазарь. — Это уж, сударь, нечего бы толковать... баба-то она хоть и баба, а попала в самую центр. Не по твоим заслугам тебя ценят. Твоя заслуга — прямо скажу, не рублевая заслуга, а тысячная.

Семен Андреич пожал плечами. По-видимому, ему и самому начинало казаться, что заслуги его в должной мере не оценены.

— А я тебе на этот случай притчу, сударь, скажу, — продолжал Лазарь, и не то что какую житейскую притчу, а прямо от писания — божественная, значит...

Мы, разумеется, изъявили желание послушать притчу.

— Жил, скажем мы, — начал Лазарь, — на

свете хозяин — в Рассее ли, ино ли где, не знаю, — ну, и нанял, значит, эф тот хозяин управителя своему дому. Жестокосердый попался управитель! Ну, и по своему жестокосердию первым долгом поналег он на хозяйских должников. Прямо надо говорить должникам от него житья не стало. И проценты ему подавай и работу ему исправляй — все. А чуть какой не исправен, сейчас это в яму его. Одним словом, аспид и василиск... Ну, и был, стало быть, у хозяина другой управитель. Тот как делал? Призовет тебе должника и спрашивает: «Что ты хозяину должен?» — «Сто пудов масла», говорит. «Давай сюда расписку». Тот даст расписку, а управитель в ней и напишет: «Не сто пудов, а семьдесят должен человек этот». Так и с другим. Призвал одного, призвал другого всем долги попустил. Ну, только много ли, мало ли времени прошло, посогнали управителей с местов. И доброго согнали, и сроптивного согнали. Ну, и стал, скажем мы, сроптивный бедствовать — и не то что как, а просто главы не знал где преклонить. А другой добрый-то, значит, не токмо сыт был — капитал приобрел немалый, пото-

му всякое ему угожденье от должников и всякое приятство воспоследовало. Вот она, притча какая!.. Так что сказано, сам господь доброго управителя-то одобрил — добрый ты раб мне, говорит...

— Представьте себе, ведь именно есть такая притча в священном писании, — оживленно произнес Семен Андреич, обратясь ко мне, и даже просиял, — но в этом переложении народном она еще какой-то особый, мудро-практический смысл приобрела... Это даже трогательно!..

— Как же не мудрость, — сам господь одобрил! — подтвердил Лазарь и затем неожиданно добавил: — Вот и ты, сударь, следуй... Копи не деньги, друзей копи!..

— Не держи сто рублей, держи сто друзей... В поле пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится, — поддержала мужа мельничиха и умильно поглядела в осоловелые Семен-Андреичевы глаза.

— А я что же, я всегда готов. Я рад... — сказал Семен Андреич, — вы вот друзья мне и просите чего хотите... (Он внезапно побагровел и изъясил в лице своем застенчивое ве-

ликодушие.) Спиридоновна, хочешь, подарю телку? Сейчас подарю... Я готов... Телка тирольская, а я ее подарю...

— Ты вот что, сударь, — перебил его Лазарь, — телка телкой, а Кабановку мне сдай... Честью я тебя прошу: сдай Кабановку.

— И Кабановку сдам!.. — куражился Семен Андреич, — и телку подарю, и Кабановку сдам... Я все сдам!.. Веришь, Устинья?

— Ах ты, мой батюшка, да кому же нам и верить-то, как не твоей милости! — ответила Устинья.

— Да. Я говорю и отдам... Мне что Дурманины!.. Дурманины мне — тьфу!.. (Гундриков с особенной настойчивостью плюнул).

— А вот Гуделкин, Ириной Маркыч, — тонко заметил Лазарь, — давно бы он, говорит, Кабановку сдал, да правов у него таких нету... Есть, говорит, ему на то запрет — это насчет Кабановки-то...

— Гуделкин?! Ириной?! — пренебрежительно воскликнул Гундриков, как-то странно скосив брови, и затем, придав и тону своему и выражению своей физиономии строгую официальность, произнес: — Лазарь Парамо-

ныч, не угодно ли сейчас же вот у этого стола снять в арендное содержание Кабановскую пустошь?

— Триста двадцать десятин будет-с? — почтительно и тоже официально осведомился Лазарь.

— Триста двадцать.

— В трех полях-с?

— Да.

— На двадцать лет изволите сдавать?

— На двенадцать.

— Ценою как-с?

— Семь рублей.

— Хе-хе, — шутить изволите-с.

— Чего ты, Лазарь, беспокоишь Андреича, — с упреком заметила Устинья Спиридоновна, — стало быть, ты умом-то обносился... Не видишь, Андреич для шутки речь повел... Где виданы такие цены!.. Известно, коли правов ему господа не дают, — как ее сдать!..

Гундриков вознегодовал.

— Что ты говоришь такое!.. Как ты так можешь рассуждать! Ты баба и больше ничего...

— Ох, баба я, кормилец, баба... — смиренно согласилась мельничиха.

— Какая твоя цена, Лазарь? Говори скорей, я вам докажу!.. Я докажу Гуделкину!.. Представьте себе: прав я не имею! Ах, вы...

Дело с Кабановской пустошью покончилось очень скоро. Не далее как через десять минут перед Гундриковым появился лист бумаги, на котором он и начертал нетвердою рукою: *«Сдал я, Гундриков, Кабановскую пустошь гг. Дурманиных купцу Лазарю Парамоничу Новичкову, ценою по пяти рублей десятина и задатку пятьсот рублей получил...»*

— Друг, — в восхищении воскликнул Лазарь, спрятав расписку Гундрикова в карман, — вовек не забуду твоей услуги!.. Жена! Шипучки...

А Устинья Спиридоновна сокрушалась:

— Ах я дура, дура... Ведь сумлевалась я в тебе, Андреич, ох, сумлевалась!.. Не чаяла я, сколь в тебе силы много...

Гундриков самодовольно улыбался.

Принесли «шипучку». Это оказалось «тотинское». Мы выпили. Тотинское хотя, по своему обыкновению, и отдавало свеклой, но жажду утоляло превосходно.

— Ну, друг, еще одно дельце! — сказал Ла-

зарь после тотинского.

— Проси чего хочешь, — великодушеествовал Гундриков.

— Вызволи, сударь, до конца — поддержи нового хозяина!..

— Проси — все дам.

— Ох, немалая просьба...

— Проси говорю! — уже настоятельно и как бы с сердцем повторил Семен Андреич.

— Кабановские мужики в петле у тебя...

— Это правда, — самодовольно заявил Семен Андреич.

— Я прямо скажу: ты и царь им и бог...

— Это правда. Я доволен. Я народ русский люблю, он господ своих почитает, — высокопарно заметил Семен Андреич и погладил себя по животу.

— Ах, как и не почитать-то, вас, голубчиков, — с умиленным вздохом произнесла мельничиха, — вами, голубчиками, свет держится... Что звезды на небе, то бояре на Руси...

— Оборудуй же ты, сударь, дельце, — продолжал Лазарь, — возьми ты у меня деньги, а под работу кабановских мне найми... Я знаю

их — народ они закостенелый.

— Народ закостенелый, а меня послушают.

— А тебя послушают... Ты господин ихний... И ты до поры до времени об аренде скрой, пущай их не знают... А придет время, мы и объявимся... хе-хе-хе!..

— О, я их сожму! — бахвалился Гундриков, — я им гривну за лето дам, и ту возьмут... О, я их умею завлечь!.. Я бужу в них исконные чувства русского человека... Я ищу в них струны и нахожу...

Снова появился на сцену лист бумаги, и на нем снова начертал расписку Семен Андреевич... Из расписки явствовало, что он обязывается нанять кабановских мужиков для работ на пустоши Кабановской и нанять не дороже цены такой-то, для чего и взял он у Лазаря Парамоныча Новичкова денег столько-то.

И эта расписка потонула в объемистом бумажнике мельника.

Не успели мы досыта наговориться о сделке и не успел еще Лазарь поведать нам всех предположений своих относительно пустоши, а Гундриков посоветовать ему, какой системы держаться с мужиками кабановской

деревни, как возвратился Мартишка. Лазарь, высунувшись в окно, спросил у него, сдал ли он деньги, и затем, обратясь к нам, с тонкой улыбкой предложил:

— А что, господа, — есть такое мое намерение камедь устроить?..

— Что ж, устрой... Устрой, это нас позабавит, — снисходительно согласился Гундриков.

— Это насчет утки? — догадалась Устинья Спиридоновна и прибавила: Утку ты мне отмести, Лазарь; Степки чтоб не было, а Мартишку пробери. Хорошенько его, пса, пробери!..

Лазарь позвал и Степаху и Мартишку. Оба они предстали перед нами смущенные.

— Ты жарила ноне утятину? — простодушно спросил мельник.

Та трепетным от волнения голосом ответила, что жарила.

— Где же она?

— Перепарилась.

— Так... Ты чего ж смотрела?

— Их милость дожидалась... — указала Степаха на Гундрикова. По мере того как до-

прос продолжался, голос ее крепчал. В нем даже начинало появляться раздражение.

— Куда же ты дела перепаренную-то?

— Куда... куда! собакам отдала!..

— Ах ты, песье мясо!.. Так и отдала?

— Так и отдала.

Лазарь обратился к Мартишке.

— Ты, голубь, давно дома был? — с прежним простодушием спросил он.

— На прошлой неделе был, — угрюмо ответил Мартишка.

— Ржи до новины у домашних хватит?

— Куда-те! с Егория покупают.

— С Егория... А едят сытно? Разносолы большие у них?

Мартишка не отвечал. Он, видимо, уразумел, к чему клонились расспросы Лазаря... Лазарь многозначительно помолчал, не спуская язвительного взгляда с лица Мартишки, и вдруг разразился руганью. Ругань была артистическая. В ней было упомянуто и о неблагодарности людской, и о подлом людском лицемерии, и о скверных свойствах Мартишкиных, и о свойствах его родителей, и об мошенническом поползновении всей вообще голи

объедать добрых людей... Было упомянуто и о двух сотенных, только что пожертвованных Лазарем на эту самую неблагодарную голь.

Мартишка молчал и стоял понурившись. Волосы его свесились на лицо. Вся фигура как бы оцепенела в смущенной неподвижности. Степаха все более и более озлоблялась, но, не дерзая протестовать громко, ограничивалась сердитым шепотом.

— Я добряк, — вволю наругавшись, сказал Лазарь, — я тебе на выбор даю: либо вот бог, а вот порог — и ползи по миру, либо — говори правду... Говори, ел нонче утятину?

Наступило тягостное молчание. Наконец Мартишка легонько вздохнул и пробормотал:

— Было малость...

— Степашка приносила?

Мартишка взглянул на нее исподлобья и, взглянув, ответил:

— Она...

По лицу Степахи выступили пятна. Она с негодованием плюнула и повернулась было к двери, но Лазарь собственной своей особой загородил ей дорогу.

— Стой, голубушка, — сказал он, — не спе-

ши, дай нам на красу твою налюбоваться...

Степаха осталась. Она походила на волчицу, попавшую в тенета... Устинья Спиридоновна, с выражением полнейшего безучастия, прибирала остатки обеда.

— С какой стати она тебя утятинной потчевала, а?... Пауза.

— Говори, голубчик, говори прямо... Сгоню — с голоду издохнешь, действительно повторил мельник. Но на губах Мартишки точно замок висел.

— Полюбовницей, что ль, доводилась тебе?

Снова последовало тягостное молчание.

— Эй, Мартишка, — сгоню!.. доводилась?.. — каким-то шипящим голосом произнес Лазарь.

— Доводилась... — последовал смущенный ответ.

Лазарь внезапно повеселел.

— Хе-хе-хе!.. Плут же ты, погляжу я на тебя...

— Чурило! — кротко отозвался Гундриков.

Степаха прерывисто дышала, но молчала. Изредка она с ядовитой ненавистью останавливала взгляд свой на спокойной фигуре

мельничихи.

— Ну, и когда же вы спознались? — продолжался допрос.

— С Красной горки...

— Хе-хе-хе... Травку, значит, почуяли, корма вольные!

— Что же, ты к ней, Чурило, ходил, или она к тебе ходила? — вмешался Гундриков и плотоядным взглядом окинул жирную Степаху.

Мартишка молчал.

— Открывайся, Мартишка, — вмешалась и мельничиха, — попал, брат, в собачью стаю, лай не лай, а хвостом виляй!..

Но не успел еще Мартишка с обычной своей угрюмостью доложить, что «она к нему ходила», как Степаха с разъяренным видом бросилась на мельничиху и вцепилась ей в волосы... Мы остолбенели. Гундриков первый нашелся. Несмотря на колебание, ощущаемое им в ногах, он бросился к Степахе и, крепко схватив ее поперек туловища, оттащил от мельничихи. Мельничиху подхватил под мышки Лазарь.

Она была неузнаваема. Весь ее почтенный и даже умильный облик исчез бесследно,

и пред нами бешено металась женщина без всяких признаков «исконности». Впрочем, образный язык не покинул ее и в таком состоянии. Лишенная возможности вцепиться в физиономию соперницы, она сулила ей такую бездну напастей, что становилось жутко. Тут были и пожелания, чтоб бедную Степаху «свило да скорчило, повело бы да покоробило, перекосило бы с угла на угол да с уха на ухо»; тут и выражалась надежда, что Степаху «затрясет лихорадка, возьмет лихая болесть» и она от той болести «ни питьем не отопьет-ся, ни сном не отоспится»; тут на несчастную бабу призывался и гром, которому предстояло разразить ее голову, и «родимец», от которого требовалось «затрясти» ее, и «вихорь», которому поручалось «разнести» ее кости вплоть до синего моря...

Нельзя сказать, чтоб и Степаха унывала. Если ругань ее уступала ругани мельничихи в образности, то, кажется, превосходила ее выразительностью. Степаха преимущественно склонялась к биографии. По ее словам, «Устюшка» была «подлая тихоня», которая «на людях богу молится, а в потемках черту

свечку ставит...» Не было ехиднее мельничихи никого на свете, по словам Степахи. Она будто бы и ей всю штуку из ревности подстроила: Лазарь-де Парамоныч к ней, к Степахе, «приставал», а Устинья проведала... У Лазаря-де и борода с той поры поредела...

Понятно, все эти разоблачения казались нам несообразными. Но Устинью Спиридоновну они уязвили глубоко. Под влиянием злобы, а отчасти, может быть, и хмеля, она разрыдалась и порывалась даже рвать на себе одежду. Ее увели и уложили спать. Степаху тоже увели. Ее заперли в кухне. Лазарь хотел продолжать «камедь» и предлагал Степаху высечь. К чести Семена Андреича нужно сказать, что он положительно воспротивился этому. Мало того, он даже настоятельно просил выпустить Степаху; но Лазарь на это не согласился: он все-таки, кажется, не переменял своего решения высечь беднягу...

...Тусклые звезды уже мерцали на небе, когда мы пустились в путь. Было тихо. Росы не было, и ночной воздух казался душным. Линия горизонта смутно обрисовывалась на западе. Таинственная тьма покрывала равни-

НЫ.

Но тьма эта внезапно рассеялась. Вдали вспыхнул пожар, и кровавое зарево зловещим румянцем окрасило небо. Искры заметались и затолклись над заревом, и поля осветились фантастическим светом.

Чем-то ужасным и вместе величественным повеяло на нас от картины этой, от этого мрачного, как бы нахмуренного неба, от зловещего зарева и печальных полей, на которых отражение этого зарева трепетало тихими волнами.

Тишина, стоявшая в поле, казалась грозной и как бы предшествующей чему-то страшному...

Григорий как-то усиленно чмокал и дергал вожжами. Он спешил. Но он не возвышал голоса, как не возвышают его в присутствии покойника. Он пугливо озирал окрестность и шептал в благоговейном ужасе: «Эка полыхает-то, подумаешь!» Под влиянием этого ужаса он как-то странно съежился и приник к вожжам.

Господин Гундриков был не в духе. Перед отъездом он спал, и лицо его было смято. По-

жар не произвел на него впечатления. Он с самого Криворожья часто и глубоко вздыхал и нетерпеливо ворочался на месте. Иногда он выпускал многозначительное кряхтенье; иногда ругался чрезвычайно зло и энергично, но к кому обращалась ругань, было неизвестно.

Я сначала подумал, что несчастный мучается похмельем. Это предположение оказалось ошибочным: Семен Андреич никогда не испытывал похмелья. Наконец, проехав добрую половину пути, он высказался несколько яснее:

— Ах, рракальи!.. Во-о-от!..

— Кого это вы?

Он промолчал, испустив раздирающий вздох, и затем со скрежетом повторил:

— Нет... каковы рракальи?..

— Да кто же?

— Да эти архидьяволы!.. Ах, подлецы...

— Не пойму...

— Да эти... мельники!.. А? По пяти рублей десятина... нет, каковы мерзавцы?.. Пять рублей, а?.. А эта святоша-то, Устюшка-то, а? Ах, шельма... представьте себе, Марфу Посадницу ^{11} разыгрывает, а? Какова?.. Ах вы...

И до самого дома ругался Семен Андреич, бестрепетно нарушая торжественную тишину полей, озаренных пожаром.

Комментарии

Навуходоносор II — вавилонский царь (604–562/561 до н. э.). В 586 году до н. э. взял Иерусалим, разрушил его. Воздвиг в Вавилоне ряд дворцов и храмов и «висячие сады» (так называемые «Сады Семирамиды»), причисленные античной традицией к «семи чудесам света».

[^^^]

«...победы императрицы Елизаветы». — Имеются в виду победы русской армии над войсками прусского короля Фридриха II в Семилетней войне (1756–1763).

[^^^]

«Новое время» — газета, выходившая в Петербурге с 1868 по 1917 год, крайне реакционный орган, пропагандировавший великодержавный шовинизм и антисемитизм. Ленин писал: «Новое Время» Суворина — образец бойкой торговли «на вынос и распивочно». Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 251).

Эртель разделял ненависть революционно-демократического лагеря к «Новому времени». В одном из неопубликованных писем к М. В. Огарковой он так характеризует эту газету: «Новое время. Совершенно подлая газета... Щедрин описал ее под видом „Помои“».

[^^^]

Филарет (1782–1867) — митрополит московский, ярый реакционер, автор катехизиса и ряда статей, проповедей, поучений. Славился красноречием, составившим ему громкую известность в реакционных кругах.

[^^^]

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — русский историк, публицист, писатель, являлся защитником реакционной теории «официальной народности».

[^^^]

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1816–1898) — государственный деятель и дипломат Пруссии, «железом и кровью» создавший в 1871 году объединенную германскую империю под владычеством Пруссии и Гогенцоллернов. Свое резко отрицательное отношение, отношение демократа к реакционным «деятелям» типа Бисмарка, Эртель высказал в одном из неопубликованных писем к М. В. Огарковой: «*Ненависть* могут возбуждать Катковы, Аракчевы, Бисмарки, Гамбетты — одним словом, *крупные* враги того порядка вещей, который тебе дорог и близок» (ф. 349, папка XXI, N 2).

[^^^]

Катух — хлев для телят, свиней.

[^^^]

Меттерних Клемент Венцель (1773–1859) — реакционный австрийский политический деятель, вдохновитель и руководитель «Священного союза», при помощи которого он фактически управлял Европой.

[^^^]

«О Русь святая! Какое сердце не дрожит...» — Гундриков не совсем точно цитирует строки из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов». У Жуковского:

*О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?*

[^^^]

Шереметевы — древний дворянский род. Здесь это имя употребляется, очевидно, в связи с тем, что Шереметевы были крупнейшими помещиками, владельцами тысяч крепостных крестьян, огромнейших земельных богатств.

[^^^]

Марфа Посадница (XV век) — вдова новгородского посадника Борецкого, возглавившая боярскую группировку, враждебную объединительной политике русского централизованного государства.

[^^^]